

Петер Тирген

Бамбергский Отто-Фридрих-университет (Германия)

**«LIFE IS A TALE // TOLD BY AN IDIOT». К ПОНЯТИЮ
«ДОБРОГО СЕРДЦА» У ДОСТОЕВСКОГО И ГОНЧАРОВА**

Life's but a walking shadow; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more: It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.
(Shakespeare, Macbeth V, 5, 24–28)¹.

В 2014 г. фрейбургский историк Ян Экель опубликовал свою монументальную диссертационную монографию «Амбивалентность Добра. Права человека в международной политике начиная с

¹ [Примеч. пер.: Эпиграф к статье – цитата из трагедии Шекспира «Макбет» (д. V, явл. 5, с. 24–28; курсив в цитате мой. – О.Л.). Мы сочли необходимым оставить эпиграф в английском оригинале, поскольку в нем есть слово «*idiot*», принципиально важное для проблематики статьи, но при этом отсутствующее как таковое во всех русских переводах «Макбета», где оно заменено синонимами, ср.:

Жизнь – тень бегущая; актер несчастный,
Что час свой чванится, горит на сцене, –
И вот уж он умолк навек; рассказ,
Рассказанный *кретином* с пылом, с шумом,
Но ничего не значащий.
Пер. А. Радловой.

Жизнь — это только тень, комедиант,
Паясничавший полчаса на сцене
И тут же позабытый; это повесть,
Которую пересказал *дурак*:
В ней много слов и страсти, нет лишь
смысла.
Пер. Ю. Корнеева.

Жизнь – ускользящая тень, фигляр,
Который час кривляется на сцене
И навсегда смолкает; это – повесть,
Рассказанная *дураком*, где много
И шума и страстей, но смысла нет.
Пер. М. Лозинского.

Жизнь – только тень, она – актер на сцене.
Сыграл свой час, побегал, пошумел –
И был таков. Жизнь – сказка в пересказе
Глуца. Она полна трескучих слов
И ничего не значит.
Пер. Б. Пастернака.

1940-х гг.» («Die Ambivalenz des Guten. Menschenrechte in der internationalen Politik seit den 1940-ern»; Göttingen, 936 S.). Учение об «историческом релятивизме» более чем наглядно свидетельствует о том, как велика была с незапамятных времен дистанция между человеколюбивым идеализмом и политической реальностью прав человека – и, вероятно, так будет и впредь. Но и нравственные заповеди тоже живут под дамокловым мечом амбивалентности. Страдание и со-страдание – это «юридическая риторика о правах человека» и «социально-технологическое планирование»¹. В фундаментальном труде Экеля – даже при том, что имя Достоевского, гроссмейстера русского романа, в нем вообще не упомянуто – можно почерпнуть гораздо больше мыслей и представлений о коренных вопросах творчества Достоевского, нежели в профессиональных работах литературоведов об эстетике и нарративных стратегиях писателя и его концепции «положительно прекрасного человека». Исторические и антропологические реалии могут быть лишь оттенены, но никак не отгеснены эстетическими факторами.

Кто такой князь Лев Николаевич Мышкин – мышелев княжеского происхождения? Он спаситель людей или, с позиций своего горного плаги морали и нравственности, мучитель людей? Или он и то и другое? *Parturient montes, nascetur ridiculus mus* («Будет рожать гора, а родится смешная на свет мышь»²)? И есть ли «доброе сердце» гарант «благородного характера»? Некоторым размышлениям на эту тему посвящена предлагаемая работа.

1. Куриная слепота «прекрасного сердца»

Шекспир был для Достоевского «поэтом отчаяния»³. Отчаяние – это высшая ступень и финальная стадия сомнения. В многократно цитированном письме к Н.Д. Фонвизиной из Омска от конца января

¹ *Eckel Jan*. Die Ambivalenz des Guten. Menschenrechte in der internationalen Politik seit den 1940-ern. Göttingen, 2014. S. 244 и след.

² *Гораций Флакк Квинт*. Наука поэзии. К Пизонам // Гораций Флакк Квинт. Оды. Эподы. Сатиры. Послания / пер. М.Л. Гаспарова. М., 1970. С. 386..

³ *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Л., 1972–1990. Т. 24. С. 160, 162. Далее тексты Достоевского цитируются по этому изданию с указанием тома римской, страницы арабской цифрой в скобках.

ря – 20-х чисел февраля 1854 г. Достоевский назвал себя «дитя неверия и сомнения» до «гробовой крышки» (XXVIII/1. С. 176). И Мышкин тоже периодически теряет веру (ср.: VIII. С. 182, 458) – и не только перед лицом базельских полотен Гольбейна и Ганса Фриса, которые Достоевскому были прекрасно известны. Мышкин заканчивает свою сознательную жизнь, по словам повествователя, «в бессилии и в отчаянии» (VIII. 507).

С самого раннего времени Достоевского беспокоил вопрос, почему именно хороший человек («хороший-то человек, самый лучший человек») так часто чувствует себя несчастным, заброшенным и впадает в одиночество (ср.: I. С. 86; II. С. 131). И этот вопрос порожден не только психологическим, социальным или литературным сентиментализмом – это есть философская проблема Просвещения и связанных с ним философских течений. Начиная с XVIII в. «(только лишь) доброе сердце» абсолютно нормативно дифференцировалось от «благородного характера», даже в тех случаях, когда позиция автора и понятийные дефиниции текста не являлись четкими. По общему признанию, «увлечения» и нравственность мышления не могут считаться признаком истинной добродетели и разумной морали. И текст Достоевского тоже гласит: «Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить» (VIII. С. 510)¹. Достоевскому нравилось вкладывать прописные истины в уста второстепенных персонажей или ненадежных повествователей – это было одним из составных элементов его полифонической игры сознаниями и голосами. Но в конечном счете речь идет не об умозрительном эксперименте, но – как и у Экеля – о реальном опыте.

Распространенное в то время в немецкой словесности слово «Schwärmerei»² было в целом негативным понятием; для некоторых

¹ Немецкий глагол «schwärmen» в русском языке, как и во многих других, не имеет однозначного эквивалента. В русских синонимических словарях глагол «увлекаться» имеет множество синонимов. В немецко-русских словарях глагол «schwärmen» переводится в том числе и как «увлекаться». Насколько я понимаю, эта понятийная нечеткость связана с отсутствием фундаментальных феноменологических исследований (история понятий). Несмотря на некоторые попытки толкования, это же положение применимо и к синонимическому ряду «рассудок / разум / ум / благоразумие». (Примеч. пер.: русские варианты перевода глагола «schwärmen»: мечтать, увлекаться, восторгаться, грезить, бредить». – О.Л.)

² Примеч. пер.: русские эквиваленты: «увлечение, энтузиазм, фанатизм, грёзы». – О.Л.

литературных критиков оно было даже своего рода «клеймом», но в то же время, если оно понималось как «прекрасное упоение души», в нем можно увидеть и некий извиняющий компонент¹. Для Достоевского, как это явствует из его повести «Кроткая», «ужасной правдой на земле» была «слепота куриная “прекрасных сердец”» (XXIV. С. 16). «Незнание жизни» неуклонно ведет их к безысходности и гибели. И «идеальное христианство» нужно отличать от его «эмпирической формы»².

Оптимальным соответствием собственным убеждениям Достоевского в этом случае может быть понятие «честность», но и она не является заведомым доказательством морального достоинства человека (его нравственности, ср.: XXVII. С. 56), потому что, разумеется, нужно иметь правильные убеждения: например, это жизнь во Христе и со Христом³. Соответственно, для русского писателя и «энтузиазм» сам по себе тоже не является эквивалентом «нравственности» (ср.: XI. С. 274; XII. С. 238). Противопоставление «честности» как таковой и собственно «нравственности» является одним из принципиальных понятийных контрастов и в романе И.А. Гончарова «Обломов». «Нравственные силы» Обломова, как это постоянно подчеркивает повествователь, по ходу действия романа неуклонно идут к упадку, однако даже в самом финале романа Штольц признает, что его другу свойственны «честность» и «честное сердце» (Кн. 4. Гл. 8). «Честность» – это не больше чем нулевая ступень «нравственности».

Даже само страдание может быть для Достоевского амбивалентной категорией: с одной стороны, истинное счастье достижимо только через страдание (VII. С. 154 и след.); соответственно, сострадание является высшей заповедью человеколюбия (ср.: VIII. С. 192, 289), но с другой стороны, страдание, порожаемое муками собственной совести, может переродиться в некую форму патологического наслаждения самим собой (XI. С. 274; XII. С. 238). Иначе как

¹ См.: *Historisches Wörterbuch der Philosophie*. Bd. 8. Schwärmerei (Sp. 1478–1483).

² *Sloterdijk P.* Glaube, die Hölle des Zweifels // *Neue Zürcher Zeitung* vom 1. Oktober 2016 (Internat. Ausgabe). S. 27–30.

³ О различии между «честностью» и «нравственностью» см., напр.: *Dostojewskij F.M.* Der Großinquisitor. Hg. und erläutert von Ludolf Müller. München, 1985. S. 47.

объяснить то, что Ницше видел в Достоевском единственного психолога, у которого он мог чему-то научиться? И молодому Обломову знакомо «наслаждение высоких помыслов», и он тоже, погруженный в мировую скорбь о страданиях человечества, проливает «сладкие слезы» над собственными страданиями (Кн. 1. Гл. 6). Да, он погружается в сладостную задумчивость и «засыпает в своей сладостной дремоте» (Кн. 2. Гл. 11). Мышкин же в финале романа впадает в умопомешательство, утопая в слезах (VIII. С. 507).

Самые знаменитые герои русской литературы, удостоенные эпитета «доброе» или «прекрасное» сердце, – это Обломов и Мышкин. Оба они – каждый по-своему – энтузиасты, мечтатели, в перспективе повествования и в системе персонажей им сопутствуют эпитеты «поэт, мечтатель», «упоение, восторг, бред», «патетическая страсть», «прекрасная душа», «русское сердце», «благородное сердце», «предобрые люди» и т.д. Однако давайте взглянем поближе на этих героев с точки зрения оппозиции сердце / энтузиазм – характер / разум и одновременно в ретроспективе на времена Шиллера.

2. «Парадокс идиота»

Хотя Достоевский в «Дневнике писателя» и причислил Гончарова к своим любимым авторам (XXV. С. 198), в целом его суждения о Гончарове и прежде всего об Обломове в высшей степени противоречивы¹. Роман «отвратительный» (XXVIII/1. С. 325), его герой – петербургский продукт, лентяй, эгоист и никчемный «барич» (XX. С. 204; XV. С. 614). Точно так же Достоевский оскорбил и толстовского Левина (XXV. С. 205), что можно объяснить только бессознательной личной социальной неприязнью, если не завистью. В то же время в некоторых заметках можно увидеть признание Достоевского в том, что он собирается написать нечто о русских помещиках, русской народности, а также о Христе – и все это в связи с романом

¹ См.: *Битюгова И.А.* Роман И.А. Гончарова «Обломов» в художественном восприятии Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Вып. 2. Л., 1976. С. 191–198; *Дрыжакова Е.* Достоевский и Гончаров // Ivan A. Gončarov. Leben, Werk und Wirkung / (Hg.: P. Thiergen) Köln/Weimar/Wien, 1994. S. 365–377; см. также: *Туниманов В.А.* Лабиринт сцеплений: Избранные статьи. СПб., 2013. С. 395 и след. (Гл. «Вокруг Гончарова»).

«Обломов» и прежде всего – с главой «Сон Обломова» (XX. С. 391–392; XV. С. 252, 614; XII. С. 367)! Из этих планов ничего конкретного не получилось, так что позиция Достоевского остается неясной. И все же метранпаж типографии А.И. Траншеля М.А. Александров (о нем см.: XXIX/2. С. 327–328) передает следующие слова Достоевского, произнесенные в разговоре о романе «Обломов»:

А мой идиот ведь тоже Обломов <...>. Ну да! Только мой идиот лучше гончаровского... Гончаровский идиот мелкий, в нем много мещанства, а мой идиот – благороден, возвышен (IX. С. 419).

Парадоксальные странности обоих этих идиотов до сего дня представляют собой проблему для интерпретатора. Эту парадоксальность можно попытаться следующими вопросами:

- Как это возможно, чтобы воплощение смертного греха лени, литературный герой, абсолютно лишенный главных добродетелей¹, а именно Обломов, постоянно характеризовался в повествовании эпитетами «доброе сердце», «хрустальная» и «чистая» душа?

- Как это возможно, чтобы патологически больной катализатор несчастий Мышкин, ни разу не воспрепятствовавший ни убийству, ни приступу мгновенного умопомешательства (и в этом есть некое сходство с Алешей в романе «Братья Карамазовы»), фигурировал в романе как эталон «вполне прекрасного человека» (XXVIII/2. С. 241, 251)?

- Как это возможно, чтобы литературные герои, чьи говорящие имена указывают на их ущербное, обломочное существование (Обломов) или зооморфное уродство (Лев Мышкин), в восприятии многих критиков выростали до масштабов воплощенного идеала человека?

- Или в общем: как это возможно, что литературные герои Гончарова и Достоевского, именуемые по ходу повествования идиотами, олухами, больными, дураками и проч., характеризующиеся как «потерянные» и «виновные», могут быть в то же время «добрыми

¹ Примеч. пер.: главные добродетели по Платону: мудрость, смелость, благородие, справедливость; по христианской теологии: вера, надежда, любовь. – О.Л.

сердцами» или «прекрасными душами»?¹ Достаточным ли будет объяснение этого противоречия, исходящее из традиционных ссылок на энигматически-полифонический нарратив, обманную повествовательную стратегию или архетип Дон Кихота?

Это загадка не только для здравого рассудка обыкновенного читателя, но и для профессионального литературоведа; ей заплатил свою дань даже Хорст Юрген Геригк, один из наиболее известных немецких специалистов по творчеству Достоевского, заметив: «Из всех персонажей Достоевского самую трудную загадку читателю предлагает князь Лев Мышкин»². Соответственно, от некоторых натяжек несвободны и суждения самого исследователя. С одной стороны, он называет Мышкина «светоносным персонажем», исполненным «чистоты» и «бесконечной доброты», которые в целом складываются в образ «абсолютно положительно нравственного человека»³. Но с другой стороны, «для Достоевского болезнь – это *всегда* признак извращенного сознания, т.е. следствие безнравственных мыслей»⁴. Итак, «положительно прекрасный человек» как носитель «безнравственных мыслей»?

Попытка спасения от этого противоречия, которую Геригк предпринимает, интерпретируя эпилепсию Мышкина как «священный недуг» и попытку шоковой терапии, предпринятой «нравственным

¹ В тексте романа Мышкин назван не только идиотом, но и дураком. Аналогичные определения героя встречаем в романе «Обломов» (см., напр.: Кн. 4. Гл. 7.). Согласно Далю понятие «дурак» могло иметь значение «пустоцвет». Об Обломове в романе сказано: «Но цвет жизни распустился и не дал плодов» (Кн. 1. Гл. 6). Какие же плоды приносит жизнь «дурака» Мышкина? Способен ли он опровергнуть теории Ипполита о «зеленых деревьях» и равнодушной природе? Чему, в конце концов, принесит пользу зерно абстрактной любви к ближнему своему? «По плодам их узнаете их, – гласит Евангелие. – Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь» (Мф. 7; 16–20). См. также: *Турген П.* Обломовка как Анти-Итака: Архетип Одиссея в творчестве И.А. Гончарова // *Имагология и компаративистика*. 2018. № 10. С. 27–73.

² *Gerigk H.-J.* Dostojewskijs Entwicklung als Schriftsteller. Frankfurt/M., 2013. S. 109.

³ См.: *Gerigk H.-J.* Dostojewskijs Entwicklung als Schriftsteller. S. 103, 119, 124–125, 128, 131.

⁴ *Gerigk H.-J.* Turgenjew. Eine Einführung für den Leser von heute. Heidelberg, 2015. S. 184 (курсив мой. – П.Т.).

сознанием» в целях самосовершенствования¹, равно как и его предостережение от «недооценок», в том числе и эпитета «идиот», представляются мне довольно рискованными – если не предположить, что нравственное сознание, в том числе и христианское, является слабым и априорно угрожаемым со стороны «духовного умопомрачения». Тем не менее мысль Геригка о том, что отношение Мышкина к миру питается из источников, не могущих быть однозначно определенными, представляется верной². Я же утверждаю, что «парадокс идиота» может быть если не разрешен, то во всяком случае лучше понят с позиций идеологии Просвещения, философского идеализма и немецкой классической литературы: прежде всего, Шиллер и его кантианство обнаруживают определенные точки соприкосновения с этой проблемой.

3. Целостность характера versus парциальность сердца

В Вольфенбюттеле и других городах Германии с давнего времени проводятся симпозиумы германистов, посвященные словесности эпохи Просвещения. Один из сборников материалов этих симпозиумов носит название «Человек как целостность. Антропология и литература в XVIII веке»³. Результатом подобного рода исследований стало представление об ансамблевом взаимодействии философии, литературы, психологии, медицины и теологии. В центре проблематики были тема воспитания, жанр воспитательного романа (*Bildungsroman*) и венчающий все здание науки о человеке философский вопрос о его предназначении⁴. На передний план при этом выступал определенный тип мыслителя: «врач-философ», ориентированный на идею целостности человека. Представитель такого типа личности знал, или по крайней мере предполагал, что мнимый идеал «пре-

¹ Gerigk H.-J. Dostojewskijs Entwicklung als Schriftsteller. S. 108, 124–125.

² Gerigk H.-J. Dostojewskijs Entwicklung als Schriftsteller. S. 103.

³ Der ganze Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert / (Hg.: H.J. Schings). DFG-Symposion 1992. Stuttgart/Weimar, 1994; см. также: Der ganze Schiller-Programm ästhetischer Erziehung / (Hg.: K. Manger). Heidelberg, 2006; Der ganze Mensch. Zur Anthropologie der Antike und ihrer europäischen Nachgeschichte / (Hg. B. Janowski). Berlin, 2012.

⁴ См.: Macor L.A. Die Bestimmung des Menschen (1748–1800). Eine Begriffsgeschichte. Stuttgart/Bad Cannstatt, 2013.

красной души» или опыт калокагатийной самореализации в единстве духовного и физического совершенства в конечном счете являются половинчатыми – они постоянно угрожаемы распадом на свои составляющие.

Основные понятия этого немецкого дискурса: «назначение человека», «прекрасная душа», «благородный характер», «слабое сердце» и «цельный человек» вскоре всплыли и в России. И несмотря на то, что к выяснению отдельных путей проникновения этих идей в Россию были приложены некоторые усилия, пути эти в целом остаются неисповедимыми. Вероятно, лучшей немецкой работой этого плана о Достоевском является книга Кристианы Шульц «Эстетическая теория Шиллера в литературной теории Достоевского: некоторые аспекты» (*Aspekte der Schillerschen Kunsttheorie im Literaturkonzept Dostoevskijs*. München, 1992). Достоевский засвидетельствовал свое увлечение Шиллером: «...мы воспитывались на нем» (XIX. С. 17) и даже свое знание текстов Шиллера наизусть (XXVIII/1. С. 69). Если бы мы спросили Достоевского о его литературных предпочтениях, Шиллер, вероятно, возглавил бы этот список¹. Гончаров также оставил свидетельства своего увлечения Шиллером, сообщив, что он выполнил большое количество переводов из Шиллера, Гёте и даже Винкельмана². Оба – и Гончаров и Достоевский – явно интересовались прозаическими сочинениями Шиллера, и этот интерес вплоть до настоящего времени является одной из наиболее сложных проблем так называемой «латентной рецепции».

В прозаических произведениях Шиллера, как это было характерно и вообще для XVIII в., речь, помимо всего прочего, идет и о добром сердце, и о благородном характере. Если доброе (или прекрасное) сердце рассматривается как одна из частных составляющих своего рода априорной «грамоты на дворянство», но впоследствии становится знаком пассивной жизненной позиции, то прекрасному или благородному характеру приписывается полновесная способность действенной жизненной позиции, т.е. способность соединить

¹ Ср., напр.: *Schulz Christiane*. «Ich habe Schiller auswendig gelernt». Das «geistige Ferment» Schiller im Erzählwerk Dostoevskijs // *Jahrbuch der Deutschen Dostojewskij-Gesellschaft*, 17 (2010). С. 10–41.

² См. об этом: *Турген П.* Обломов как человек-обломок (к постановке проблемы “Гончаров и Шиллер”) // *Русская литература*. 1990. № 3. С. 18–33.

осознанное и активное исполнение долга добродетели со склонностью к добродетели. Образно говоря, человек с благородным характером подобен дубу, обладающему стержневым корнем, уходящим глубоко в почву и дающим ему устойчивость в жизненных бурях, а доброе (только лишь доброе) сердце подобно сосне с корнями, стелющимися близко от поверхности почвы и потому неустойчивой под напором урагана. Требовать добра от других, т.е. только декларировать его, – это одно, а творить добро самому и тем самым вносить его в мир – это совсем другое. Словосочетание «доброе сердце» и его синонимическое гнездо вполне может оказаться надувательской вывеской.

Поэтому трактат Шиллера «Эстетическое воспитание» имеет своей конечной целью облагораживание и «целостность характера», а не просто парциальное воспитание сердца. Согласно Шиллеру, никогда нельзя жертвовать целостностью нравственных моральных сил во имя совершенствования отдельных моральных качеств. Шиллер любил выделять слова «целостность» и «характер» курсивом¹. Ужасы французской революции усилили убеждение Канта и Шиллера в том, что гарантировать гуманность и гражданскую свободу обществу могут не идеально-идеологические добросердечие и энтузиазм (*Schwärmertum*), но только «облагороженный характер» «цельного человека». Согласно Канту решающее значение имеет не чистое «благожелательство», но одно лишь осуществленное «благодеяние». Пассивно-аркадское идиллическое существование низводит человека до животного уровня овечьего прозябания². В своем аркадском стихотворении «Резиньяция» (в русском переводе «Отречение») Шиллер заставляет лирического героя вернуть Вечности «свидетельство на счастье»³ – и этот мотив, и эта цитата отзовутся в романе Достоевского «Братья Карамазовы» (ср.: «...свой билет на вход спешу возратить обратно <...> только билет <...> возвращаю»:

¹ *Schiller F. Sämtliche Werke / (Hgg. : G. Fricke, H.G. Göpfert). 5. durchges. Auflage. Bde. 1–5. München, 1973–1975; см. подробнее: Bd. 5. S. 579 (4. Brief der «Ästhetischen Erziehung») и 807 (Über das Erhabene).*

² Ср.: *Kant I. Metaphysik der Sitten («Tugendpflichten gegen Andere»); см. также: Kant I. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht («Vierter Satz»).*

³ *Шиллер Ф. Собрание сочинений: в 7 т. М., 1955. Т. 1. С. 146.*

XIV. С. 223; XV. С. 555). Лишь свободная воля и индивидуальная добродетель решимости, преодолевающие тяготение к чистому «благополучию», являются основами нравственности. Для Шиллера и его теории безусловной аксиомой является утверждение:

...ибо человек есть существо хотящее. <...> Добрым и прекрасным, но слабым душам свойственно нетерпеливо настаивать на осуществлении своих моральных идеалов и огорчаться встречаемыми препятствиями. Такие люди ставят себя в грустную зависимость от случая, и можно всегда с уверенностью предсказать, что они <...> не вынесут высшего испытания характера и вкуса¹.

В статье «О патетическом», соответственно, говорится, что «мы с отвращением отворачиваемся от сносного персонажа»², иначе говоря, «все возвышенное имеет источником *только* разум»³. Это утверждение исполнено аподиктической решительности. По мысли Ганса Юргена Шингса, Шиллер внес существенный вклад в дискредитацию «поэзии сострадания»⁴. И у Гёте в «Признаниях прекрасной души» «твердость характера» предпочтена «соблазнам беспорядочной фантазии» и частным благоговениям чувствительного сердца. Умиление всегда может скрывать в себе элемент самолюбования.

Различие между (только лишь) добрым сердцем и благородным (или прекрасным) характером, т.е. между преходящей добродетелью темперамента и надежной разумной добродетелью, способствует лучшему пониманию парадоксальности образов Обломова и Мышкина. Абстрактная теорема прекрасного сталкивается с реальностью бытия, поскольку идеал – это еще не реальность, а поза – еще не действие. Согласно его (предполагаемому?) намерению Достоевский хотел в Мышкине создать образ совершенно прекрасного человека. Но уже Кристоф Мартин Виланд заметил, что «совершенно пре-

¹ Шиллер Ф. О возвышенном // Шиллер Ф. Указ. изд. Т. 6. С. 489, 491.

² Примеч. пер.: в оригинале: «halbguter Charakter», буквально: «наполовину хороший характер». – О.Л.

³ Там же. С. 221, 202.

⁴ Schings H.J. Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch. Poetik des Mitleids von Lessing bis Büchner. München, 1980. С. 11.

красный человек <...> это абстракция, которая никогда не существовала, никогда не будет и никогда не может существовать»¹.

Удивительным образом знаменитая формула Достоевского здесь буквально предсказана и одновременно категорически опровергнута. Скепсис Виланда сближает его с Кантом и Шиллером и, насколько мне известно, эта параллель еще не была отмечена в науке о Достоевском.

Если мы предпримем попытку исследовать в романах Гончарова и Достоевского семантическое поле понятий сердце – душа – характер, станет очевидно, что оппозиция сердце – характер в них весьма актуальна, даже если она, как и в немецкой словесности, не всегда имеет статус всепроникающей нормативности и однозначной номенклатурности. Гончаров, т.е. повествователь романа «Обломов» и его персонажи – вновь и вновь говорит о «добром сердце» и «чистой душе» Обломова, но при этом добавляет, что характер у него летаргический (Кн. 1. Гл. 6) или вообще отсутствует («у него недоставало характера»), и это не дает ему вполне постигнуть идеал «добра, правды, чистоты» (Кн. 2. Гл. 11). Ольга называет себя «мечтательницей, фантазеркой», обладающей «несчастливым характером» (Кн. 3. Гл. 11), а Штольц сетует на ее «мечтательность» и «избыток воображения» (Кн. 4. Гл. 8). В горах Швейцарии Ольга поняла, что Штольц – не мечтатель (Кн. 4. Гл. 4). По сравнению с ним Ольге не хватает «силы воли и характера». *Officia honestatis* – предписаниям моральной ответственности – повинуются только сильный характер.

Соответствующие параллели можно найти и в романе Достоевского «Идиот», в котором постоянно отмечается, что «предобрые люди» в конечном счете могут быть только смешны – и это еще в лучшем случае (ср.: VIII. С. 240). Когда Мышкин произносит свою очередную проповедь о смирении и всепрощении, ему возражает один из немногих персонажей, которого Достоевский не выводит в двойном свете, а именно князь-антагонист Щ.:

Милый князь <...> рай на земле нелегко достается; а вы все-таки несколько на рай рассчитываете; рай – вещь трудная, князь, гораздо

¹ *Wieland Chr.M. Gedanken über die Ideale der Alten // Wieland Chr.M. Werke / (Hgg. : Fritz Martini, Hans Werner Seiffert). München, 1967. Bd. 3. S. 359–411. Цит.: S. 364.*

труднее, чем кажется вашему прекрасному сердцу. Перестанемте лучше, а то мы все опять, пожалуй, сконфузимся, и тогда... (VIII. С. 282).

Здесь незаконченный разговор прерывается многоточием, и мы можем заключить, что истине лучше остаться невысказанной: она принадлежит к разряду *ineffabilia*, невыразимого¹. Тем не менее представляется, что это невыразимое вполне внятно высказано, как в самом действии, так и в финале романа, где эхом откликается формула Виланда об абстрактности идеала положительно прекрасного человека. И, разумеется, не случайно в эпилоге романа вновь возникает фигура князя Щ., сказавшего «несколько счастливых и умных истин» по поводу последнего свидания Евгения Павловича с неизлечимо душевнобольным «идиотом» князем Мышкиным в швейцарской психиатрической клинике (VIII. С. 509)². Разумеется, о том, какие именно это истины, читатель остается в неведении – как это типично для Достоевского!

Не следует забывать также и того, что в русских дискуссиях той эпохи существенную роль играл трактат Макиавелли «*Il principe*» (буквально – «Князь»). И это произведение тоже предлагает своего рода контрпроект Мышкину.

4. Идиотски-мечтательное существо в качестве сверхчеловека (Ницше)?

Достоевский и Гончаров вполне сознавали половинчатость чистой доброжелательности, т.е. благополучия, не осуждая окончательно (только лишь) «доброе сердца». Тем не менее их романы прони-

¹ Примеч. пер.: термин происходит от названия буллы римского папы Пия IX «*Ineffabilis Deus*» (букв.: «Боже неописуемый»), 8 декабря 1854 г. провозгласившей догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии. – *О.Л.*

² «Истины» высказывал и еще один князь Щ., а именно, князь М.М. Щербатов в своем известном сочинении «О повреждении нравов в России». В частности, он сожалел о недостатке «благородной гордости» у русских. Этот труд был впервые напечатан в 1858 г.в Лондоне с предисловием А.И. Герцена, см.: *Герцен А.И. Собрание сочинений*: в 30 т. М., 1958. Т. 13. С. 272 и след., 560 и след. См. также: *О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радищева*. 1858–1983. Факсимильное издание. М., 1983.

заны ощущением того, что провозглашенный и осуществленный проекты жизни не должны расходиться друг с другом.

Радикальная деконструкция концепта «(только лишь) доброго сердца» не заставит себя долго ждать: его окончательно сокрушит Фридрих Ницше. В посмертно изданных сочинениях Ницше, а также в «Антихристе» мы можем найти формулировки, которые могут быть прочитаны как своего рода разоблачительный комментарий к образу Мышкина:

Что нравится всем набожным женщинам, старым и молодым? Ответ: святой с красивыми ногами, еще юный, еще *идиот*...¹.

Несколько ниже следует инвектива Ницше против презираемых им «добрых людей» с их «овечьей умеренностью» («Schafsmäßigkeit») посредственности и стадным идеалом счастья невинных агнцев («Lämmer-Glück»):

Они сумасбродно верили, будто «прекрасную душу» можно носить в том трупном уродстве, которое они именовали телом... А чтобы и других заставить в это поверить, им понадобилось истолковать понятие «прекрасная душа» по-новому, переиначить и исказить его естественную наполненность, покада в конце концов оно не превратилось в бледное, болезненное, *идиотически-восторженное существо, каковое и стало восприниматься как совершенство* <...> как преображение, как высший человек (145).

Это звучит как пародия на декларированный Достоевским «реализм в высшем смысле». И далее:

...сперва мы провоцировали неистовство чувства молитвами, движениями, жестикующей, клятвами, – теперь на смену ему приходит изнеможение, часто очень тяжелое, нередко и в форме эпилепсии. А за этим состоянием глубокой вялости и разбитости наступает проблеск выздоровления – или, в религиозных понятиях, «спасение» (С. 148).

¹ Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / пер. с нем. Е. Герцык и др. М. : Культурная Революция, 2005. С. 434 (курсив мой. – П.Т.). Далее ссылки на страницы этого издания приводятся в тексте в скобках.

Некоторым своим наброскам Ницше даже дает название «К критике доброго человека». В них он задается вопросом:

...желательно ли было бы, чтобы сохранилась только «самая почтенная», т.е. самая скучная порода человека? Прямоугольные, добродетельные, порядочные, хорошие, прямые «носороги»? (С. 211).

Его ответ гласит: в «добром человеке» торжествует «идеальный раб», как выражение абсолютного «самоотречения» (С. 212). Такое самоотречение было бы тотальной импотенцией во всех смыслах – духовной и сексуальной: «человек лишился бы, к сожалению, не только известного члена, но и утратил всю *мужественность* характера» (С. 223). «Безумие моралистов» следует максиме: «только человек, лишенный мужественности, есть добрый человек» (С. 223). Террор смиренности «доброго человека» – это не больше, чем новая форма псевдоморальной тирании смиренных: «воля к установлению одной морали является на поверку тиранией того вида, для которого она скроена, над другими видами» (С. 189). Следовало бы пропагандировать не идеал доброго стадного человека, но идеал сильной индивидуальности и отвергнуть «пустую доброту и прекраснодушие» (С. 510). «Самое тяжелое испытание характера: не дать разрушить себя соблазнами добра» (С. 505). Из этой последовательности цитат очевидно всплывает совершенно противоположный смысл возможных высказываний Достоевского на эту тему.

Все это довольно грубо сказано и приводит на память напыщенные тирады Берты Экштейн-Динер, скрывшейся за псевдонимом «Сир Галахад». Ее «Путеводитель по идиотам русской литературы», вышедший в 1925 г., был, вероятно, создан под сильным влиянием Ницше¹. Однако, как известно, Ницше оказал огромное влияние не только на немецкую, но и на русскую мысль. И кое-что в его наследии было своего рода реакцией на русскую мысль, прежде всего, на Достоевского. Если же принять во внимание осознанную в XVIII в. истину, что «доброе сердце» еще не является залогом «благородства

¹ *Sir Galahad*. Idiotenführer durch die russische Literatur. München, 1925. Издание было отпечатано тиражом 20 000 экземпляров. См. о нем: *Mulot-Déri S.* Sir Galahad. Porträt einer Verschollenen. Frankfurt/M, 1987. Автор называет «Путеводитель по идиотам» «реакционным мусором» (S. 210).

характера», то станет очевидной непрерывная цепь преемственности и полемики европейской общественной мысли: от Шиллера к Гончарову и Достоевскому и далее – к Ницше и рецепции Ницше в России. Эта цепь эволюции европейской идеологии заслуживает проведения специального исследования.

5. Заключительные вопросы:

*Deus geometra*¹ – мечтательность – умопомешательство?

Ни один русский писатель не предлагает читателю такого количества коварных вопросов и не ставит такого множества не- или едва разрешимых проблем, как Достоевский. Для каждого аргумента у него находится контраргумент, каждому герою соответствует антигерой – и часто это один и тот же персонаж. У каждого переднего плана найдется задний план и подтекст, и «все высказанное влечет за собой невысказанное» (Х.Ю. Геригк). В этом познании бесконечной противоречивости незыблемой остается только позиция жизни – главного парадоксалиста (см. V. 179). Изобилию вопросов соответствует бесконечное множество комментариев и попыток ответов. Но задачи остаются повсеместно, в частности следующая.

Псалом 44.3 гласит:

Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки².

Этот стих процитирован в так называемой *Epistula Lentuli* (Послание Лентула), написанной в эпоху позднего Средневековья: она создает идеальный образ внешне прекрасного и внутренне благородного Христа в «романтической» манере, свойственной художникам-назарейцам³. Проблемное отношение христианской веры к изо-

¹ Бог-геометр (лат.).

² Цит. по: *Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета: в 12 т. Пб., 1904–1907. Т. 4. С. 222.*

³ См. соответствующее описание в кн.: *Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon / (Hg. : K. Ruh). Völlig neu bearbeitete Auflage. Berlin, 1985. Bd. 5. Sp. 705–709.*

бражению Бога («Не сотвори себе кумира...») хорошо известно¹. Насколько Достоевскому могли быть известны источники, подобные «Посланию Лентула»?

Достоевский ревностно выступал против эвклидово-геометрической логики хрустального дворца западноевропейского мышления и настаивал на том, что с ее помощью невозможно решить все жизненные вопросы, равным образом относящиеся и к устройству общества, и к геометрически систематизированному эстетическому мышлению (см.: V. С. 113, 119, 121). Но таким ли уж злом являются рационализм как «редукция души» и рассчитанно-математическое («смысл математический» – XV. С. 55–56) мышление? Являются ли эвклидовский разум и «эвклидова геометрия» (XIV. С. 214) результатом «эвклидовской дичи» (XIV. С. 222) дьявола? Как спасти теодицею, зная о том, как безмерны мучения детей и животных? Не следует ли взбунтоваться против мира бессмысленности и безумия подобно Ивану Карамазову? И закрыто ли для посястороннего эвклидовского разума – «текущего ума» любое проявление потустороннего смысла? Кристиана Шульц упорядочила высказывания Достоевского по «эвклидовской» проблематике и соотнесла их с философией Декарта (*cogito, ergo sum*), Канта и Гёте². По мнению Достоевского, мышление эвклидовского типа, всегда требующее доказательств, никогда не приведет к глубокому познанию истины.

Одновременно исследовательница утверждает, что в отношении Достоевского к идеологии и философии Просвещения «много не освещено»³. Неосвященным мне представляется и то, каким образом инвективы Достоевского против *more geometrico* (геометрический

¹ См. об этом монументальное исследование: *Hinz P. Deus homo*. Berlin 1973, 1981. Bd. 1–2.

² *Schulz Chr. Geschichtsschreibung der Seele. Goethe und das 6. Buch der „Brat’ja Karamazov“*. München, 2006. S. 98–150.

³ *Ibid.* S. 118. В работе Д. Чижевского «Dostoevskij und die Aufklärung» (Tübingen, 1975) исследуется проблема нигилизма, однако в ней не уделено внимания проблеме «Достоевский и Просвещение». (Примеч. пер.: в оригинале игра слов: Aufklärung – Просвещение, ungeklärt – «неясно, туманно, запутанно»). Выбирая эквивалент «освещено» для глагола «ungeklärt», я пыталась сохранить этот прием. – *О.Л.*)

метод)¹ можно совместить с исконным представлением о *Deus Geometra* (Боге-геометре), т.е. с представлением о Боге как о великом архитекторе и художнике, создавшем красоту и гармонию мира сообразно с эстетически-геометрическими критериями. В своем великолепном труде, проигнорированном, насколько я знаю, наукой о Достоевском, Фридрих Оли замечает:

Художественная метафористика Бога-творца предлагает совершенно иной образ Бога, нежели вспомоществовательная метафористика Бога-избавителя как целителя или правителя, освободителя или доброго пастыря. История метафор Творца-вседержителя заслуживает такого же исследования, как история сотериологических метафор, история образа человека в христианстве <...> история темы Бога и мира в языке и в искусстве².

В качестве смирителя хаоса *deus geometra* выступает гарантом красоты, порядка и гармонии. Геометрическое искусство Бога является даже одним из антиатеистических аргументов. Девизом Академии Платона была формула: *Nemo geometriae ignarus intrato* («Не геометр да не войдет»). Кеплер мыслит целиком в категориях *deus geometra*, Вольтер называет Бога «вечным Геометром», в поэме Мильтона Христос вооружен «золотым циркулем», и даже Книга премудрости Соломона гласит: «но Ты все расположил мерою, числом и весом» (Сол. 11, 21)³. Некоторые усматривают в этих фактах библейскую легитимизацию эвклидовского и пифагорейского типов мышления (символика чисел, музыкальная гармония и проч.). Знал ли Достоевский эту традицию и не полемизировал ли он именно с ней? Какая именно красота, по его мнению, должна спасти мир (ср. VIII. С. 317, 380, 436, 482), если красота вообще изначально дана миру при помощи *more geometrico* или *more mathematico*, т.е. геометрическим или математическим способом (методом)? Красота ли

¹ Выражение «*more geometrico*» («геометрический способ (метод)») восходит к трактату Б. Спинозы «*De intellectus emendatione*» («Об очищении интеллекта»).

² *Ohly F.* *Deus Geometra. Skizzen zur Geschichte einer Vorstellung von Gott // Tradition als historische Kraft* / (Hg.: N. Kamp und J. Wollasch). Berlin, 1982. S. 3–4.

³ Высказывания на эту тему собраны в кн.: *Ohly F.* *Op. cit.*

это идиота, который в том числе является каллиграфом в чисто эвклидовском, формально-эстетическом смысле? Каллиграфы у Достоевского обречены гибели¹. И вообще, не иронизировал ли Достоевский насчет «этих шиллеровских прекрасных душ» (VI. С. 37)? Нужно ли было, в самом деле, утверждать, что Шекспир и Рафаэль прекраснее сапог, керосина или социализма (ср. X. С. 372; XII. С. 311–312)? Спросить-то легко, а вот ответить – гораздо труднее.

В драме Лессинга «Натан Мудрый» (1779) Натан поучает свою приемную дочь Рэху:

Запомни,
Что *набожно мечтать* гораздо легче,
Чем поступать по совести и долгу:
Кто волей слаб – охотно предается
Таким мечтам, чтоб только – сам порою
Не сознает он умысла, – чтоб только
От добрых дел себя избавить (Д. 1. Явл. 2)².

Так же, как и в своем трактате «Воспитание человеческого рода» (1777)³, Лессинг проповедует здесь так называемые «разумные истины» просвещенного гуманизма. Необходимы не экзальтация мечтательной души и не чистое благомыслие, но практическое благодеяние. В драме Лессинга, так же как и в философии Канта, но в притчевой форме, речь идет об идеале свободного от предрассудков благодеяния. Мечтатель не более чем теоретик благодеяния, но не

¹ См.: *Harreß B. Mensch und Welt in Dostoevskijs Werk. Ein Beitrag zur poetischen Anthropologie.* Köln; Weimar; Wien, 1993. S. 93.

² Цит. по: *Лессинг Г.Э. Натан мудрый.* М., 1953. Перевод В.С. Лихачева. (Примеч. пер.: В оригинале стихи «Что набожно мечтать гораздо легче, // Чем поступать по совести и долгу» содержат выделение курсивом, усиливающее оппозицию: «Wie viel *andächtig schwärmen* leichter, als // *Gut handeln* ist?», словосочетание «gut handeln» можно перевести как «делать доброе дело». – *О.Л.*)

³ Русский перевод: *Лессинг Готхольд. Воспитание человеческого рода // «Лики культуры»: альм. / пер. М. Левиной.* М., 1995.

его свершитель. В этом смысле как Обломов, так и Мышкин не способны быть ни деятелями, ни примерами¹.

Хорошо знакомый и с творчеством Лессинга и Шиллера, и с философией Канта профессор Московского университета Николай Надеждин в 1830 г. назвал Германию «областью систематической мечтательности», в которой на фоне «невнимания к положительным условиям жизни» царят «романтическая мечтательность» и «страсть к идеализму»². Как уже было замечено выше (см. примеч. 1 к с. 454), в русском языке отсутствует однозначный эквивалент немецкого отглагольного существительного «Schwärmerei». Наряду с понятием «мечтательность» Надеждин употребляет в этом же смысле понятия «энтузиазм», «восторженность», «увлечение» и «лунатизм». Хольгер Зигель, известный знаток русской словесности этой эпохи, совершенно справедливо переводит все это словом «Schwärmerei»³. Однако русское понятие «мечтательность» имеет другие этимологические корни по сравнению с немецким понятием «Schwärmerei». Но можно перевести «schwärmen» – «мечтать» как «давать волю фантазии». Биргит Харресс в вышеупомянутой монографии (см. примеч. 1 к с. 470) убедительно доказала, что творчество Достоевского изначально ориентировано на тип увлекаемого сиюминутным чувством энтузиаста. При этом она различает три последовательно сменяющихся друг друга варианта этого типа: мечтатель в раннем творчестве, энтузиаст-фанатик в среднем периоде и верующий в позднем творчестве⁴. В этой классификации есть много положительного. Но если внимательнее присмотреться к окружающему эти типажи понятийному полю, то здесь обнаруживается очередная проблема: всем трем воплощениям типа – и особенно первым двум – в русском оригинале сопутствует одна и та же словесно-понятийная цепочка: мечта – мечтатель – мечтательность. Разумеется, семантическое наполнение этих понятий может меняться, но смысловое ядро и коренное значе-

¹ В более широком смысле вопрос этот очень древний, и стоит он так: является ли слово делом? «В начале», как известно, «было Слово». Однако в данной работе я не вдаюсь в более подробное рассмотрение этого вопроса.

² Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 305, 441.

³ См.: Mann Ju. Nikolaj Nadeždin über das Land der „systematischen Schwärmerei«. Aus dem Russ. von H. Siegel // West-östliche Spiegelungen. Reihe B. Bd. 3. München, 1998. S. 667–690 (Цит.: S. 668–669).

⁴ Harreß B. Op. cit. S. 84 и след., 177 и след., 331 и след.

ние понятия остаются одними и теми же. Трудно сказать, сознавали Достоевский эту неразрывную связь.

Во всяком случае, проблема значения и смысла понятия «доброе сердце» изначально возникает у Достоевского в неразрывной связи с понятием «мечтатель» и всем его вышеописанным семантическим полем. «Доброе сердце» в любой момент может оказаться «слабым сердцем» (ср. одноименную повесть Достоевского). «Слабый человек» всегда под угрозой собственных энтузиазма и «глупого сердца» (ср. повесть «Хозяйка» – I. С. 315 и след.). В «Признаниях прекрасной души» Гёте говорит о «слабом сердце», способном только «мечтать». В трагедии Шиллера «Дон Карлос» король называет маркиза Позу «странным мечтателем» (Д. III, явл. 10). Повесть Достоевского «Белые ночи» имеет два подзаголовка: «Сентиментальный роман» и «Из воспоминаний мечтателя», а в ее тексте возникает вопрос: «Слушайте: знаете вы, что такое мечтатель?» – возможно, это «смешной человек»? Идет ли в «Белых ночах» речь о «патетических» или о «смешных» вопросах? Как уравновесить «фантастику» и «отрезвление» (см.: II. С. 111–120)? И если ни Обломов, ни герои Достоевского не работают в прямом, практическом смысле, соответствуют ли они условиям, при которых характер, согласно Канту, Шиллеру и Гёте, может быть определен как положительно нравственный?

Чтобы приблизиться к разрешению этих проблем, необходимо основательное изучение истории понятий, каковое отсутствует и применительно к Гончарову, и применительно к Достоевскому, хотя в этом последнем случае для подобного исследования существует основательный лексикографический базис¹. Что именно русские писатели понимали под словами «сердце», «душа» или «характер» и знали ли они о том, что в немецкой словесности, прежде всего в словесности эпохи Просвещения, предпринимались неоднократные попытки дефиниции и дифференциации этих понятий? Представляется, что сопоставительное изучение истории русского понятия «мечтатель» и немецкого «Schwärmer», а также возможных путей трансфера и трансформации этих понятий было бы в высшей степе-

¹ См.: *Словарь языка Достоевского*. Лексический строй идиолекта. М., 2001; *Статистический словарь языка Достоевского*. М., 2003. Однако конкордансов в собственном смысле слова они не содержат.

ни содержательным¹. Русские тексты XIX в. исполнены многочисленных сожалений по поводу отсутствия понятийного сознания и трудностей передачи немецких понятий «русскими звуками» (Надеждин). Гончаров даже говорил о русском «растлении понятий и нравов»². Изучение истории понятий требует большой филологической и философской начитанности и знания оригинальных текстов. Многие немецкие достоевковеды предпочитают работать с переводами, а это – в зависимости от того, какая проблема ставится, весьма ненадежный источник.

В романе «Идиот» встречаются такие словосочетания, как «благородный», «бесовский» и «смешной» характер (VIII. С. 219, 298, 299). Характер может быть также «серьезным и полным истинного достоинства» (VIII. С. 77). Сам Мышкин сообщает о «странном» диагнозе своего лечащего врача: «развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый» (VIII. С. 63). В романе о взрослении человека «Подросток», описывающем, по определению Х.Ю. Геригка, поиски самоидентичности «пубертатного сознания», слово «характер» приобретает статус ключевого понятия. Словоупотребление не имеет неперемного терминологического смысла. Действующие лица у Гончарова и Достоевского тоже именуется «характерами», а не «сердцами» или «душами». Особенно у Достоевского понятие «душа» периодически ставится под сомнение ироническими и комическими контекстами, в которых оно возникает. Лебедев называет Мышкина своим «благодущеишим, искренней-

¹ Об истории понятия в немецкоязычном пространстве см.: Die Aufklärung und die Schwärmer / (Hg.: N. Hinske). Hamburg, 1988 (Aufklärung. Interdisziplinäre Halbjahresschrift. Jg. 3. Heft 1). В русском литературоведении такую попытку предпринял А.С. Янушкевич, см.: Янушкевич А.С. Метаморфозы русского энтузиазма // Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit. Beiträge zu einem Forschungsdesiderat / (Hg. : P. Thiergen). Köln; Weimar; Wien, 2006, S. 151–169. В его работе речь идет также о многих немецких источниках понятия – таких как Лютер, Шиллер, Ф. Шлегель и Ж. де Сталь. См. также: Янушкевич А.С. Своеобразие русского энтузиазма как ключевого слова русской культуры // «Точка, распространяющаяся на всё...»: К 90-летию профессора Ю.Н. Чумакова. Новосибирск, 2012. С. 551–573.

² Письмо к С.А. Никитенко от 8/20 июня 1860 г. См. также: Турген П. История русских понятий. К постановке проблемы // Имагология и компаративистика. 2015. № 1 (3). С. 61–80.

шим и благороднейшим князем», воплощением «торжества добродетели» (VIII. С. 377). Окарикатуренный мечтатель в качестве насмешки над «прекрасным человеком», который, в свою очередь, тоже наделен чертами этого типа!? Что, собственно, люди XIX в. понимали под словом и понятием «идиот»? Был ли Достоевский осведомлен об этимологических греческих корнях этого понятия?¹

Жизненный путь Обломова заканчивается ударом и преждевременной смертью, жизненный путь Мышкина – вторичным (последним?) заключением в санатории в горах Швейцарии. Патология одерживает победу над «добродетелью» и «добрым сердцем». В 1867–1868 гг. Достоевский жил в Женеве, где незадолго до этого времени было основано общество Красного креста. К этому времени был написан роман «Идиот», через некоторое время – рассказ «Вечный муж», где в заключение главы XVI читаем следующее:

Да-с, природа не любит уродов и добивает их «естественными решениями». Самый уродливый урод – это урод с благородными чувствами <...>. Природа для урода не нежная мать, а мачеха. Природа родит урода, да вместо того, чтоб пожалеть его, его ж и казнит, – да и дельно. Объятия и слезы всепрощенья даже и порядочным людям в наш век даром с рук не сходят <...> (IX. С. 103).

В прекрасных горах Швейцарии Мышкин чувствовал себя как «выкидыш», совершенно чуждый всему, что его окружает. Подобно Ипполиту, он не видит себе места в этом прекрасном внешнем мире ((VIII. С. 351–352). Ему оказываются чуждыми даже библейские обетования избранному: радуга и изумрудная зелень (ср. в Апокалипсисе: «радуга вокруг престола, видом подобная смарагду» – 4,

¹ Примеч. пер.: слово «идиот» происходит от древнегреческого ἰδιώτης – «отдельный, частный» (так в древних Афинах называли граждан, не принимавших участия в общественной жизни), из ἴδιος «свой, собственный; особенный». В ряде европейских языков слово заимствовано через латинское *idiotia*. Русское слово «идиот» заимствовано через немецкое *Idiot* или французское *idiot*. – *О.Л.*

3)¹. Обломов ничего так не боится, как широты вод и высоты гор. Для Шиллера, напротив, «величие природы» с ее «обширными океанами» и «необозримыми высотами» гор выражает категорию возвышенного, а эстетическое воспитание возможно только при условии соединения чувства прекрасного и чувства возвышенного². Петрарка (которого Достоевский упоминает лишь изредка) в своем знаменитом описании подъема на гору Мон Венту, отстоящую от Женевы примерно на 250 километров по прямой, аллегорически соотнес восхождение в буквальном и метафорическом, духовно-нравственном смысле с идеалом *bonum et verum* («благо и истина»). Обломов и Мышкин далеки от подобных физических и метафизических путей познания просторов. Их жизненные пути заканчиваются в тесных убежищах гроба и санатория.

Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника», который, как и Достоевский, видел в Базеле картину Гольбейна «Мертвый Христос в гробу» и в 1789–1890 гг. провел несколько месяцев в Женеве, придерживался мнения, что истинный поэт должен обладать «добрым, нежным сердцем», и заключил свою короткую программную статью «Что нужно автору?» утверждением: «Я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором»³. Интересно, что сказал бы Карамзин о Достоевском, учитывая биографию писателя, а также о его галерее персонажей-преступников?

По Достоевскому, энтузиазм нуждается в нравственной силе и цели – это может быть благо народа и его святая вера в Христа. В противном случае он обречен на беспочвенность (ср. «почвы нет» – XI. С. 274) и состояние потерянности. «Теряться / потеряться» – это одно из излюбленных словечек и Гончарова и Достоевского, заслуживающее специального исследования по причине своей крайней частотности. Герои состоявшегося воспитательного романа (романа становления) находят себя (приходят к себе), достигая самоидентификации и цельности; напротив, такие персонажи, как Об-

¹ Лейтмотивом зеленого цвета в романе нельзя пренебречь: ср. инвективу Ипполита против «зеленых деревьев» и смех и негодование Мышкина на «зеленой скамейке». Не есть ли это профанация посланного избранному библейского знамения «радуги <...> видом подобной смарагду»?

² Шиллер Ф. О возвышенном // Шиллер Ф. Указ. изд. Т. 6. С. 497–499.

³ Карамзин Н.М. Избранные статьи и письма. М., 1982. С. 39.

ломов и Мышкин, теряются в утрате этой самоидентичности, характерной для романа, реконструирующего процесс распада личности. Добрый Обломов и прекрасный Мышкин – это никоим образом не Натан Мудрый. Герой романа «Подросток», формально *nullo patre natus* (незаконнорожденный) в конце концов извиняется за свои энтузиастически-мечтательные порывы и заявляет, что «Шиллеров в чистом состоянии не бывает: их выдумали» (XIII. С. 363). Может быть, и «вполне прекрасный человек» Мышкин тоже только выдуман? Кристиана Шульц констатирует: «Идеал должен разрушиться, потому что он основан на *ущербной человеческой натуре*»¹.

У Канта мы встречаем синонимический ряд «*Enthusiast. Träumer. Phantast. Schwärmer. Wahnsinniger. Verrückter*» («энтузиаст, мечтатель, фантаст, (восторженный) мечтатель, безумец, сумасшедший»)². Достоевский кульминационно соединил все эти смыслы в словесигнале «идиот», впервые акцентировав его в языке своей эпохи. Однако Кант утверждает и следующее: «Мечтательный образ мыслей заключается в том, *что сами по себе справедливые и благонадежные идеи* он простирает за границы всевозможного опыта»³. Тот, кто переходит границы, сам становится обломком, как Обломов, или срывается в хаос безумия, как Мышкин, несмотря ни на какое «доброе сердце». Это – экстремальные последствия, которые, впрочем, не чужды авторам романов, особенно, если этим авторам не чужда страсть к мелодраматизму. Однако в реальной повседневности постоянно всплывает проблема «политкорректности» так называемого «доброго человека», который время от времени упускает из вида различие между этикой благородного образа мыслей и этикой ответственности за свои поступки. Среди пророчеств Христа о несчастьях, ожидающих заблуждающееся человечество, есть и та-

¹ *Schulz Chr.* Aspekte der Schillerschen Kunsttheorie im Literaturkonzept Dostoevskijs. München, 1992. S. 168.

² *Die Aufklärung* und die Schwärmer / (Hg.: N. Hinske). Hamburg, 1988 (Aufklärung. Interdisziplinäre Halbjahresschrift. Jg. 3. Heft 1. S. 78–79).

³ Цит. по: *Die Aufklärung* und die Schwärmer. S. 81 (курсив мой. – П.Т.) Примеч. пер.: В оригинале: «Die schwärmerische Denkungsart ist, wenn man an sich wahre und bewährte Ideen über die Grenze [der] allergrößten Erfahrung ausdehnt»: Akademieausgabe von Immanuel Kants Gesammelten Werken. Bd. XV. Anthropologie. S. 406. Фрагмент 921. Интернет-ресурс: <https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/verzeichnisse-gesamt.html>. Перевод мой. – О.Л.

кое: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!» (Лк. 6; 26). Бывший бундесканцлер Гельмут Шмидт однажды сказал: «Я питаю чрезвычайное недоверие к восторженным людям в политике. Чем больше восторга, тем меньше разума»¹. И «сами по себе справедливые идеи» требуют, по словам Канта, «разума и опыта», а также «ясности понятий»². Представляется, что наука о Достоевском должна была бы больше обращать внимание на эту «ясность». Тогда эта «безумная мешанина», как назвал роман «Идиот» Владимир Набоков³, возможно, выглядела бы более правдоподобной (хотя, конечно, в изящной словесности не все должно быть непременно правдоподобным).

Разумеется, после всего вышеизложенного необходимо сделать некоторые оговорки. Во-первых, здесь речь идет об эвристической системе, о проблемах, возможно, заслуживающих внимания, а не об априорно достоверных ответах. Во-вторых, нельзя руководствоваться только современными теоретическими конструктами (какими бы заслуживающими внимания они ни выглядели); гораздо важнее иметь в виду специфику проблемы в эпоху Гончарова и Достоевского: только это поможет понять и правильно оценить понятийную структуру их текстов. Оба они, и Гончаров и Достоевский, жили не в сегодняшнем, а в тогдашнем мире понятий. В-третьих, планы повествования рассказчика и персонажа могут не иметь ничего общего с мнением автора. Писатель, подобный Достоевскому, с его калейдоскопом повествовательных планов и точек зрения, со своей стороны занимается эвристической игрой, возможно, даже игрой в бисер. Эта относительность всегда должна быть в поле зрения, однако она не может быть исключительным основанием постановки вопросов. Герменевтика выше герметичности.

Перевод О.Б. Лебедевой

¹ *Karlauf T.* Helmut Schmidt. Die späten Jahre. München, 2016. S.

² Цит. по: *Die Aufklärung und die Schwärmer*. S. 78, 80.

³ *Набоков В.* Лекции по русской литературе. М. : Независимая газета, 1999. С. 205. Перевод Ив. Толстого.